

# В ЦЕЙТНОТЕ: ЗАМЕТКИ О СОСТОЯНИИ РОССИЙСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ

**Сергей Соколовский**

*Сергей Соколовский, антрополог, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН. Адрес для переписки: ИЭА РАН, Ленинский пр., д. 32а, Москва, 119991, Россия. SokolovskiSerg@mail.ru.*

Обзор состояния научной дисциплины относится к маловостребованным жанрам, что может объясняться своеобразием тех ситуаций, в которых возникают поводы к его написанию. Действительно, можно назвать лишь несколько целей и мотивов, по которым использование этого жанра становится оправданным. Такие обзоры обычно оказываются приуроченными к круглым датам и юбилеям, но в этой парадной разновидности они бывают наименее интересными. Близок к этому подвиду и жанр энциклопедической статьи, в которой принято перечислять успехи и не упоминать о недостатках. Исключения иногда делаются лишь для допущенных в прошлом, но уже давно и успешно преодоленных и исправленных ошибок и заблуждений. Существует также ознакомительно-педагогическая версия обзора, который пишется для студентов или представителей смежных наук и иноязычных коллег, малознакомых с особенностями освещаемой в обзоре национальной научной традиции. В последнем случае ценность такого обзора часто зависит от того, принадлежит ли сам автор к описываемому им сообществу (в этом случае риск столкновения с парадным отчетом растет) или же это «чужак» извне, и тогда шансы на встречу со свежей оценкой или непредвзятым взглядом увеличиваются. Наконец, такие обзоры оказываются востребованными в переломные и переходные для дисциплины периоды в качестве дисциплинарной саморефлексии. В этой довольно специфической ситуации они принимают критико-полемический характер и оказываются либо резко критическими, либо откровенно апологетическими, в зависимости от того, считает ли автор сложившуюся научную традицию достойной и обладающей самостоятельной ценностью либо видит в ней продолжение такой идеологии, от которой нужно как можно скорее избавиться.

За последние 20–25 лет в отношении российской антропологии были реализованы все перечисленные модусы обзора, причем авторами критических и

апологетических текстов иногда оказывались одни и те же люди<sup>1</sup>. С моей точки зрения, критические обзоры почти всегда оказываются интереснее и глубже апологетических в силу того простого обстоятельства, что в них есть попытка (не всегда, впрочем, успешно реализованная) серьезного и вдумчивого отношения к предмету, в то время как тексты апологетические парадоксальным образом принижают свой предмет, трактуя его с идеологических или бюрократических позиций, вопреки самой логике предпринимаемой оценки претендующего на научность текста, которая требует разумного и непредвзятого рассмотрения. Я, разумеется, не собираюсь выступать здесь в качестве судьи или нейтрального свидетеля – было бы трудно вообразить обстоятельства, позволяющие занять такую позицию, – но мне представляется, что я бы мог сделать попытку такого обзора с позиции пристрастного участника и заинтересованного свидетеля некоторых событий и процессов, повлиявших на сегодняшний облик этой весьма неоднородной области исследований в ее российском варианте.

Нужно признать, что современную ситуацию в российской антропологии трудно охарактеризовать с необходимой степенью достоверности. В сходной ситуации, по-видимому, могут оказаться физик, химик, социолог или психолог, которых спросят, как обстоят дела в их науке. В ответ на такой общий вопрос чаще всего услышишь рассуждения о финансировании и утечке мозгов, зарплатах и нехватке современного оборудования, трудной доступности командировок или современной литературы, о цеховых разногласиях относительно научной политики, качестве нынешней подготовки студентов и т.п., но не о текущих дискуссиях, научных проблемах, концепциях, теориях и парадигмах. Проблема заключается, разумеется, не только в нежелании собеседников вскользь обсуждать эти, быть может, более серьезные для них вещи, требующие компетентного собеседника. Не исключено, что все дело в трудности (если не невозможности) недилетантского обзора всех субдисциплин, исследовательских областей, направлений и школ, на которые оказались поделенными эти некогда единые и суверенные области научного знания. В случае антропологии ситуация усугубляется неопределенностью самого ее предмета и дисциплинарных границ.

«Просторность» предмета нашей дисциплины, замысленного в своем предельном охвате как изучение всего «человеческого» (впрочем, это качество поначалу изучалось не у всех подряд представителей человеческого рода, но лишь среди каких-то отдельных и специальных «сортов» и «пород» людей, находящихся, как правило, за пределами того, что именовалось «цивилизованным обществом», к которому, разумеется, относились сами антропологи), позволяла с равным успехом включать в него сапоги и пироги, посты и тосты, королей и капусту, рассматриваемых как части некоего постулируемого целого. Впрочем, само это целое именовалось по-разному. В зависимости от научной моды, а также собственных пристрастий и склонностей антропологи разных специализаций выстраивали и генеалогию своей дисциплины, то возводя ее к истории

<sup>1</sup> Ср.: Басилов 1998; Соловей 1998, 2004; Тишков 2002; Тишков, Пивнева 2010; Tishkov 1992, 1995, 1998; Chichlo 1984, 1990; Durand 1995; Elfimov 1997; Humphrey 1984; van Meurs 2000 [перевод на русский – 2001].

исследований обществ и цивилизаций, то делая объектами такой истории изучение культур и языков, то обращаясь к истории исследований обычаев, верований и нравов и получая каждый раз обновленный ареопаг классиков и предтеч, а заодно и расхождения в определении возраста своей дисциплины в несколько веков. Постоянно колеблясь между полюсами истории и социологии, биологии и психологии, этноса и культуры, традиции и современности, равенства и иерархии, уникальности и повторяемости, единства и множественности, накоплением знаний о других культурах или культивированием героического прошлого собственной, российская этнография/этнология/антропология<sup>2</sup>, как и ее аналоги в других национальных традициях, неоднократно сталкивалась с кризисом идентичности и радикальной сменой своего предмета, не говоря уже о калейдоскопически меняющейся проблематике исследовательских полей.

Тем не менее, было бы неверным рассматривать историю российской антропологии так, как если бы ее ход определялся исключительно сменой теоретических предпочтений или модных поветрий. Эту историю (как и характеристику современной ситуации), наверное, лучше писать как историю социальную или политическую, поскольку именно политический и социальный контексты оказывались здесь факторами, неоднократно и коренным образом менявшими внутродисциплинарную ситуацию и определявшими коренные изменения в ее проблематике и предмете. Действительно, вехами, обозначившими крутые повороты в проблематике исследований отечественных этнографов, стали не собственно научные события – например, публикация в 1928 году книги В.Я. Проппа «Морфология сказки»<sup>3</sup> или дешифровка письма майя Ю.В. Кнорозовым в 1955 году,<sup>4</sup> – а идеологический разнос на Совещании этнографов Москвы и Ленинграда в апреле 1929 года и выступление Иосифа Сталина, опубликованное на страницах газеты «Правда» в июне 1950 года. К тому же в послевоенный период этнография была уже в такой степени централизована, что даже назначение нового директора головного института (после войны это – Институт этнографии АН СССР с отделениями в Москве и Ленинграде) приводила к смене исследовательских приоритетов во всем дисциплинарном сообществе.

Таким образом, конфигурация исследовательских областей, включаемых в предмет дисциплины, и их иерархия по степени приоритетности менялись, если говорить о тенденции в целом, а не рассуждать на уровне отдельных личностей,

---

<sup>2</sup> В дальнейшем я чаще буду использовать термин «антропология» для обозначения всей совокупности российских исследований в физической и социально-культурной антропологии, этнографии и этнологии, но читатель должен помнить об условности такого словоупотребления, поскольку в различные периоды все эти области исследований обозначались разными терминами, да и сегодня использование одного из них как предпочтительного или общего отражает конкретную позицию говорящего, за которой стоит вполне определенная идеология и исследовательская программа.

<sup>3</sup> Книга прошла в то время практически незамеченной, а метод анализа, спустя несколько лет, на конференции фольклористов 1936 года, был раскритикован коллегами как формалистский (подробнее см.: Мартынова 2006: 78–98).

<sup>4</sup> Государственную премию за открытие мирового масштаба ученый получил лишь в 1975 г., хотя его первая книга «Письменность индейцев-майя» вышла из печати в 1963 году.

под сильным влиянием идеологических и партийно-номенклатурных факторов. Типичные примеры такого рода перемен – «марксизация» этнографии начала 1930-х годов<sup>5</sup> или обращение к «колхозной современности» в начале 1950-х годов. Влияние собственно научных факторов на изменение приоритета тех или иных исследований нередко сводилось к научному кругозору и специализации официального лидера, то есть директора головного института. Понятно, что с постепенной либерализацией режима партийно-идеологический контроль ослабевал, приобретая более мягкие формы<sup>6</sup>, однако значение этого влияния во все периоды развития российской антропологии, включая нынешний, оставалось большим, за исключением, пожалуй, первых десяти–пятнадцати лет советской власти и постперестроечной России, когда этот контроль на короткое время оказался минимальным. Влияние официальных лидеров в дисциплине не было, разумеется, тотальным и повсеместным, и в течение всего послевоенного периода оно постепенно убывало, чему содействовали и такие факторы, как общая либерализация и демократизация науки в целом, ее нарастающая децентрализация, а в случае этнографии/этнологии/антропологии – изначально ей присущая мозаичность проблематики. Тем не менее, номенклатурный фактор никак нельзя сбрасывать со счетов, поскольку ощутимые повороты в тематике исследований в течение последних семидесяти лет связаны как раз с именами Сергея Толстова (директор Института этнографии АН с 1942 по 1966 год), Юлиана Бромлея (директор этого же института с 1966 по 1989 год) и Валерия Тишкова (директор переименованного в 1991 году Института этнологии и антропологии РАН с 1989 года по настоящее время). За это время исследования этногенеза и первобытного общества (так называемой «этнографической архаики») уступили свое первенство изучению социалистической современности, которое, в свою очередь, было потеснено типологией и изучением этнических процессов в рамках теории этноса, уступившей в 1990-е годы пальму первенства концепциям этничности и этнического конфликта и прикладной этнологии с весьма специфической сферой приложения, о которой речь еще пойдет ниже.

За этот же период маятник дисциплинарной предметности совершил несколько колебательных движений: от фиксации на прошлом и традиционном – к современности, от теоретических схем – к практическим нуждам, от фокуса на исследованиях общества – к исследованиям культуры, и обратно. Основными полюсами, в которых происходила смена теоретических ориентиров в случае российской антропологии последнего века, были все-таки полюса «традиция–современность» и «культура–общество» (в другой формулировке – «культура–этнос»<sup>7</sup>). В этнографической компаративистике, независимо от того, являлась ли

<sup>5</sup> Подробнее о марксизации российской этнографии этого периода см.: Slezkine 1991; Bertrand 2002.

<sup>6</sup> Здесь, кажется, не требуется особых доказательств или примеров. Достаточно сравнить судьбы героев двухтомника «Репрессированные этнографы» (1999) с судьбами собеседников Валерия Тишкова (Тишков 2008).

<sup>7</sup> Последний термин является российской терминологической новацией, постепенно вытеснившей более привычный термин «народ» (ср. определение предмета этнографии у Нико-

она эволюционистской или функционалистской, понятия культуры и общества (в российском случае вместо множественных «обществ» или «культур» чаще писали о «народностях», «народах» и «этнусах») играли роль своеобразных контейнеров, или, как выразался еще Николай Надеждин – «естественных разрядов в человечестве» (Надеждин 1847: 63–64), наполняемых, в зависимости от специализации этнографа и оптики его взгляда, тем содержанием, которое затем и служило целям типологии и выстраивания на ее основе теоретических обобщений более высокого порядка. В рамках этого глобального противопоставления «социального» и «культурного» на каждом из этапов существования дисциплины предлагались собственные типологии «естественных разрядов» в каждой из этих сфер. Примерами могут служить предложенная директором Института этнографии в 1937–1940 годах Василием Струве типология общественных формаций – «пятичленка», разработанная на основе поддержанной Сталиным интерпретации работ Маркса, или концепция хозяйственно-культурных типов и историко-этнографических областей середины 1950-х годов (Левин, Чебоксаров 1955) и деление этнических сообществ на этникосы (этноты в узком смысле слова) и этно-социальные общности (ЭСО), а также попытки привязки этнических сообществ разного таксономического уровня (племя – народность – нация) к марксистской формационно-стадиальной схеме (Бромлей 1981) и т.д.

Влияние политико-идеологического контекста и номенклатурного фактора касалось, однако, по преимуществу «главного направления» усилий, в рамках которого на страницах практически единственного цехового журнала шли основные дискуссии. Исследовательские специализации небольших коллективов и отдельных ученых вряд ли могут быть отражены в столь простой схеме, хотя попытки такого рода предпринимались неоднократно. Вспомним хотя бы теперь уже подзабытую классификацию, предложенную Эрнестом Геллнером, разделившим советских этнографов конца 1970-х годов на «этницистов», «идеологов» и «примитивистов» (Gellner 1977: 208), которую Кэролайн Хэмфри впоследствии дополнила четвертой их категорией – «типологами» (Humphrey 1984: 312). Геллнер пояснял, что «этницисты» в основном занимаются поиском этнических отличий и изучением их воспроизводства в условиях социально-экономических трансформаций, «идеологи» – глобальной историей развития человечества, а «примитивисты» – изучением бесклассовых обществ и их переходом к классовым (*Ibid.*). Нидерландский историк и политолог Вим ван Мейрс (2001) предлагал делить советских этнографов на «охотников» (практиков-реформаторов, стремившихся к конкретным прикладным исследованиям) и «собирателей» (исследователей, ориентированных на изучение прошлого и занимающихся схоластическим теоретизированием).

---

лая Харузина: «Этнография является наукой, которая, изучая *быт отдельных племен и народов* (курсив мой – С.С.), стремится отыскать законы, согласно которым шло развитие человечества на низших ступенях культуры» (Харузин 1901: 103). Термин «этнос» появился в работах российских этнографов (Николая Могилянского, Сергея Широкого и Петра Преображенского) вместе с первыми попытками теоретической разработки соответствующего понятия еще в 1910–20-х годах.

Иными словами, все упомянутые комментаторы обнаружили даже в рамках того периода, когда преобладали исследования этнических процессов, разнообразие специализаций и позиций, характерное для советской этнографии периода «бромлеевского двадцатилетия».

Политическая и идеологическая либерализация 1990-х годов создала необходимость радикальных перемен в исследовательских программах гуманитарных и общественных наук в стране, и российская антропология исключением здесь не стала. Распад страны и экономические трудности первого постперестроечного десятилетия привели к ослаблению межрегиональных научных связей (полноценные связи с центрами антропологических исследований в бывших союзных республиках, например, не восстановлены до сих пор). Одновременно происходил процесс децентрализации дисциплины, в результате которого в России возникло около трех десятков новых кафедр и десятков журналов, в названиях которых фигурировали слова «этнология», «этнография» или «антропология» (подробнее об этом см.: Соколовский 2008). Появились новые научно-исследовательские центры, на базе которых были образованы ученые советы с правом приема к защите кандидатских и докторских диссертаций по этим специальностям. В то же время общение между этнографами, например, Москвы, Казани, Краснодара, Новосибирска, Петербурга, Томска, Тюмени и Владивостока стало эпизодическим и необязательным (как и взаимная осведомленность о проводимых в этих центрах исследованиях). «Свои советы» и «свои журналы» способствовали не только кадровому росту на местах, но и фрагментации сообщества в целом, в результате чего проблемно-тематическая фрагментация и дисциплины, и дисциплинарного сообщества получили еще и географическое измерение. Под последним я имею в виду не только то обстоятельство, что российские антропологи как сообщество оказались географически разобщенными (этот фактор вполне проявлял себя и в прошлом, хотя ему противостояли институциональная централизация управления наукой, печатью, законы карьерного продвижения и т.п.), но и то обстоятельство, что характер финансирования региональных центров привел к их замыканию в проблематике «своего» региона. Лишь редкие из работающих в этих центрах исследователей, получивших образование еще в советские времена, продолжали развивать вне- или надрегиональную тематику. И хотя антропологи в Москве и (в меньшей степени) в Петербурге за счет столичного статуса и развитой научной инфраструктуры этих городов сохранили более широкие тематическую палитру и географический охват, ряд существующих здесь тенденций не позволяет утверждать, что кризис 1990-х годов остался позади и что российская антропология встала на ноги и сумела обрести новую идентичность.

В этой связи любопытно сравнить оценки состояния дисциплины, которые давались пятнадцать–двадцать лет назад, с ее нынешними оценками и состоянием. Например, в работах Валерия Тишкова 1990-х годов (Tishkov 1992, 1995, 1998) кризис дисциплины связывался с депрофессионализацией, низкими этическими стандартами и внутренней несвободой академического

сообщества<sup>8</sup>, «охранительской позицией» его членов и ориентацией на традицию, их «объективистским позитивизмом» и «методологическим диктатом», стремлением охранять собственную «концептуальную власть», недостаточно привлекательным имиджем дисциплины в стране, ее провинциализмом и изоляцией от «мирового сообщества этнологов и антропологов» (Tishkov 1992: 5–9)<sup>9</sup>. Помимо этого, он отмечает недостаток средств на экспедиционную работу и отсутствие полевых стационаров, а также проблемы возраста и здоровья сотрудников, ограничивающие возможности полевой работы (Tishkov 1992: 10), сетуя на то, что «в данный момент никто из 300 научных сотрудников Института или аспирантов [...] не живет в той или иной этнической группе». Все это, по его мнению, привело к «появлению ампулы “теоретиков-схоластиков” и “компиляторов”» (Tishkov 1992: 10) и «отсутствию рефлексии и самоанализа», «политической ангажированности ученого» (Tishkov 1992: 16–17). Три года спустя этот же автор в короткой статье, озаглавленной «Постсоветская антропология: не кризис, а нечто более серьезное» добавил к перечню причин кризисного состояния дисциплины инерцию и неэффективность организационных структур постсоветского академического сообщества (точнее, его элиты и бюрократии), растущее имущественное расслоение внутри академии, национализм и этноцентризм академических структур в республиках, методологический хаос, воцарившийся в социальных науках, отсутствие самокритики и рефлексивности, продолжающееся увлечение исследованиями этноса и этногенеза, отсутствие современных учебников и низкое качество подготовки студентов, нехватку кафедр соответствующего профиля и чрезвычайно медленное освоение новой проблематики антропологических исследований общества, а не «“этносов” как коллективных тел, межэтнических отношений и процессов» (Tishkov 1995: 90).

Таким образом, в начале 1990-х годов один из лидеров российской антропологии выделял в качестве основных причин кризиса этой дисциплины *идеологические* (консервативные установки ученых и академического начальства), *структурные* (недофинансирование и нехватка кафедр для подготовки нового поколения исследователей), *демографические* (старение кадрового состава), а также отдельные собственно *научные* (устаревшая проблематика, дисбаланс между полевыми и кабинетными исследованиями) факторы.

Его коллеги, принявшие участие в дискуссии по статье, опубликованной в «Этнографическом обозрении», привели ряд возражений, которые заслуживают внимания, поскольку, как я считаю, многие из обсуждавшихся тогда черт нашей

---

<sup>8</sup> В частности, он пишет: «Наблюдая за всеобщей эрозией нравов, эгоцентризмом, депрофессионализацией и внутренней несвободой, которые стали второй натурой советских людей, понимаешь, как трудно вести разговор, даже в среде интеллигенции, о вещах, которые выходят за пределы неделовой и отстраненной критики начальников и порядков. Еще труднее говорить о покаянии и самовозрождении в стенах Академии наук, где стойко сохраняются самодовольство и охранительный стиль мышления, бюрократическая иерархия, жесткая корпоративная солидарность, научное батрачество и легко скрываемое тунеядство» (Тишков 1992: 5).

<sup>9</sup> Цитируется по русскому тексту статьи в «Этнографическом обозрении» (Тишков 1992); ее несколько расширенная версия была опубликована в том же году в журнале «Current Anthropology» (Tishkov 1992).

дисциплины характерны для нее и сегодня. В частности, Виктор Козлов в своем обсуждении стационарного метода работы, противопоставив способности исследователей собирать информацию способностям ее анализировать, указал на избыток в отечественной этнографии описательных работ, которые должны быть «усвоены» и проанализированы теоретически (Козлов 1992: 5–7)<sup>10</sup>. Полемизируя с Тишковым, который противопоставлял долгосрочные полевые выезды американских антропологов «летней этнографии» советских этнографов (1992: 11) и «подсечно-огневую систему» низвержения авторитетов и смены теоретических парадигм у наших американских коллег – ориентации на традицию и иерархию должностей и научных авторитетов в советских общественных науках (Козлов 1992: 5–6), Козлов отмечает, что эти установки являются следствием разных форм организации науки. В частности, он отмечает, что этнографическая исследовательская работа в США сконцентрирована на университетских кафедрах, где:

...общее число этнографов измеряется тысячами, средняя концентрация их на каждое учебное заведение обычно составляет 10–15 человек, зачастую сильно дифференцированных по узко научным интересам: скажем, один из десятка изучает искусство батикования в Индонезии, другой – религиозную ситуацию в Танзании, третий – динамику структуры семьи в феодальной Англии и т.п. Будучи объединены только административно, такие этнографы фактически не образуют научного коллектива, собственно научной работой из-за загруженности лекциями и семинарами занимаются мало, главным образом, в положенный им для этого каждый седьмой год, а со своими коллегами по близкой тематике общаются преимущественно через журналы или на межуниверситетских конференциях и симпозиумах. Все это сильно отличается от ситуации в нашей стране, где научная жизнь была сосредоточена главным образом в учреждениях Академии наук [...]. Такая система не вполне способствовала популяризации этнографической науки [...], но она имела свои преимущества, обусловленные концентрацией научных сил, возможным повседневно контактом «по интересам» и более эффективным контролем за качеством научных работ [...]. В целом условия научной жизни в США могут способствовать появлению кратковременных «авторитетов» и не вполне продуманных концепций, с которыми потом приходится поступать по явно понравившемуся В.А. Тишкову принципу «подсечно-огневой системы». У нас есть больше возможностей критиковать такие концепции на стадии их зарождения и оформления ... (Козлов 1992: 5).

При всех полемических издержках и известной карикатуризации американской антропологии в приведенном выше описании нельзя отрицать, что доминирующий в этой национальной традиции стационарный метод полевых исследований и вся система организации науки существенно отличались от методов полевых исследований и организации советской этнографии, и что эти отличия с неизбеж-

---

<sup>10</sup> А именно, автор пишет: «...информация, собранная в поле, хотя и отражает специфику этнографических исследований, но сама по себе еще не обеспечивает должный научный уровень решения той или иной проблемы. Для этого требуется теоретическая подготовка и [...] аналитические способности исследователя» (Козлов 1992: 7).



ностью сказывались на географии и тематике исследований и их результатах. Не утратили интереса и наблюдения Козлова о сложностях отношений центра и периферии в новых условиях и выборе метода полевой работы – ситуации, вполне симметричной дилеммам постколониальной этнографии у наших коллег из Великобритании, США и Франции. Считая, что достижение полного погружения в изучаемую группу даже при многомесячном пребывании этнографа в поле удастся лишь немногим, и отмечая, что «обострение межэтнических отношений во многих районах страны» создает новые трудности для этнографических исследований вообще и для одиночных выездов в особенности, он предлагает больше использовать местных этнографов и краеведов, а для «разработки важных и актуальных проблем» организовывать комплексные экспедиции и масштабные кросскультурные исследования, которые, в силу их масштабности, «могут оказаться не по силам этнографам национальных республик» (Козлов 1992: 6–7)<sup>11</sup>.

Структурный фактор организации исследований, в частности – особенности их финансирования, тормозит совершенствование методов полевых исследований не только у нас, но и в других странах: консервативная политика многих фондов, финансирующих антропологические исследования, поддерживает включенное наблюдение как основной метод полевой работы антрополога, поскольку заявки, в которых исследователи планируют использование новых экспериментальных методов, в силу плохой осведомленности и осторожности чиновников от науки, обычно не поддерживаются. В России аналогичные роли играют Министерство финансов и Счетная палата, нормативные документы которых не позволяют рассматривать городскую антропологию как полевую работу и, соответственно, оплачивать экспедиционные расходы<sup>12</sup>. С точки зрения чиновников этих ведомств,

<sup>11</sup> Алексей Елфимов, подробно анализируя и сравнивая методы полевой работы в советской этнографии и антропологии США середины 1990-х годов, также обращает внимание на то обстоятельство, что как раз в тот период, когда метод включенного наблюдения в западной антропологии подвергся критике и пересмотру, лидеры российской антропологии обратились к нему как к основе и «торговой марке» дисциплины (Elfimov 2010). Что же касается отношений между «центром» и «периферией» при организации полевых исследований в советский период, то их существенное ослабление и разрушение за редчайшими исключениями парадоксальным образом способствовало дальнейшей пароксиализации региональных центров антропологических исследований и возникновению феномена «регионального ученого», зависимого от региональной власти в такой степени, которая сама по себе стала самым существенным препятствием институализации науки в регионах, развития ее как автономного института (речь здесь идет, разумеется, о социальных науках и гуманитарных дисциплинах). Чтобы не быть голословным, приведу пример публикации подборки статей «Археология узбекской идентичности», опубликованной в журнале «Этнографическое обозрение» в 2005 году, после чего ее организатору и редактору пришлось покинуть Узбекистан и выехать в Великобританию (Ильхамов 2005). Подобные случаи встречаются и в некоторых российских регионах с отчетливым «этнократическим уклоном» и негласной научной цензурой. Например, в Башкирии антрополог И. Габдрафиков неоднократно подвергался арестам и судебному преследованию по сфабрикованному делу о разжигании межнациональной розни и экстремизму.

<sup>12</sup> Здесь необходимо пояснение, что в советской (и ее наследнице – российской) системах финансирования научных выездов средства на экспедиции и командировки регулируются разными наборами правил и ограничений: командировки не могут быть столь же длительными, как и экспедиции, в них закладываются разные суммы для оплаты еды и проживания и т.д.

«экспедиции» могут осуществляться лишь в малоосвоенные территории или сельскую местность, по аналогии с геологическими изысканиями или полевой работой археологов, зоологов, ботаников и географов. В силу этих обстоятельств, какие бы альтернативные методы не предлагались в критической литературе, структурные условия финансирования исследований и бюрократия неизменно тормозят их полноценное использование и развитие: финансируется лишь то, что понятно чиновнику от науки. В случае российской антропологии ситуация усугубляется тем, что критика методов полевой работы практически отсутствует.

Мне уже приходилось упоминать о низком уровне философской рефлексии в отечественной этнологии/антропологии (Соколовский 2009). Примером может служить ситуация с методологической рефлексией: если по философии и методологии истории за последние десять–пятнадцать лет опубликовано несколько десятков крупных исследований, то отношение антропологов к методологическому аппарату собственной дисциплины на этом фоне можно назвать разве что апатичным. На это можно, конечно, возразить, что сам предмет истории – время – располагает к философской рефлексии. Но время остается весьма важным аспектом и в полевой этнографии<sup>13</sup>, а человек и культура, эти предельные в своем охвате объекты интереса антропологов, требуют методологической рефлексии не в меньшей степени. Помимо этого и в эпистемологическом отношении наши антропологи продолжают держаться весьма наивных позиций: истина может скрываться в глубине времен и в этом случае верифицироваться за счет сопоставления данных из разных типов источников и разных дисциплин, но сам принцип отражения реальности и ее непосредственной доступности в виде так называемых исторических фактов сомнению не подлежит. Альтернативные концепции истинности не обсуждаются, а современные дискуссии на эту тему в социальных науках и гуманитарных дисциплинах за рубежом остаются малоизвестными. Российские антропологи участия в них не принимают. Публикации относительно статуса этнографических фактов, появившиеся было в начале 1990-х годов, оказались исполненными на таком удручающе примитивном уровне, что не породили желания участвовать в их обсуждении, так и оставшись единичными (Пименов 1990).

Философская наивность и антиинтеллектуализм сегодняшней российской антропологии обусловлены, на мой взгляд, сразу несколькими связанными между собой факторами, однако это факторы разного характера. Значительная часть самой старшей когорты в сообществе, чураясь в свое время идеологического словаря советского марксизма, не обрела вкуса к методологической рефлексии, поскольку ассоциирует любые рассуждения философского характера с навязываемым и малопонятным официозом. Меньшая часть этой когорты, ортодоксальные марк-

<sup>13</sup> Мой опрос коллег, который был проведен десять лет назад (интервью проводились среди коллег сибирских научных центров летом 2000 года в рамках проекта «Fin-de-Siècle History of Russian Anthropology and Nationality Policy» (RSS grant No.1005/2000) обнаружил, что практически никто тогда не читал работ антропологов, активно высказывавшихся по вопросам методологии антропологического исследования: Йоханнеса Фабиана, Клиффорда Гирца, Джеймса Клиффорда или Джорджа Маркуса. Спустя десятилетие можно констатировать, что благодаря переводу «Интерпретации культур» имя Клиффорда Гирца оказалось знакомым половине опрошенных. Остальным авторам повезло меньше.

систы (как, например, Ю.И. Семенов, продолжающий мужественно и практически в одиночку бороться с «постмодернистской скверной» в антропологии), безусловно, обладает навыком такой рефлексии, но практически не имеет учеников в младших поколениях, которые бы продолжили «дело отцов и дедов». Попутно необходимо отметить, что доля старшего поколения стремительно растет: в Институте этнологии и антропологии РАН, пока сохраняющего в рамках дисциплины позицию самого крупного академического подразделения, средний возраст кандидата наук достиг 49 (!), а доктора – 67 лет<sup>14</sup>, что происходит, главным образом, потому, что мизерные пенсии и постоянное сокращение штатов академических институтов превращают всякое кадровое решение относительно приема молодежи (сопряженное с отправкой на пенсию кого-нибудь из «патриархов») в мучительный этический выбор. Снижение стандартов школьного и университетского образования, и прежде всего именно в сфере социальных и гуманитарных наук, а также философская дезориентация (пусть временная и пусть лишь части преподавательского состава), последовавшая вслед за крахом советского режима – еще один фактор, который способствует воспроизводству философской наивности и методологической неизощренности выпускников значительной части антропологических кафедр в стране. Словом, идеология, демография и кризис системы образования как будто сговорились, чтобы разрушить то небольшое, что было в нашем теоретическом «загашнике». Осознание этого привело вовсе не к активизации усилий, направленных на изменение ситуации, но к реакциям вытеснения и защиты («у нас все замечательно!»). Консерватизм и «оборонное сознание» (противопоставление своего чужому – разумеется, западному – и отвержение этого «западного» как угрожающего и чуждого) стали весьма распространенными и даже преобладающими реакциями, которые, опять-таки, вряд ли могут удивить, если принять во внимание нынешнюю демографическую структуру сообщества.

Эти, если называть вещи своими именами, обскурантистские тенденции разворачиваются на фоне сохраняющегося в рамках профессии высокого престижа полевой работы. Однако далекий от оптимальности демографический состав сообщества (никогда еще наша дисциплина не была такой старой по среднему возрасту своих членов) обуславливает рост числа кабинетных ученых, поскольку выезжать в поле исследователям старших поколений становится с каждым годом все труднее. В результате мы наблюдаем, с одной стороны, рост числа таких публикаций, которые не требуют дальних поездок и отрыва от городского образа жизни (например, основанных на архивных, документальных, историко-литературных источниках), а с другой – растущее число попыток выдать за полевые исследования краткие зарубежные поездки, научный туризм или сбор материалов специально нанятыми для этого лицами. Прежнее деление сообщества на полевиков и теоретиков ныне усложнилось за счет вторжения в его пределы представителей тех смежных областей социального знания, в которых полевые методы исследования не играли важной роли (историков, специализирующихся на гендерной и социальной истории, политологов, пишущих на темы национальной политики, мульт-

<sup>14</sup> См. об этом в отчетах о работе Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая за 2009 и 2010 годы (Отчет 2010: 33; 2011: 41).

тикультурализма и толерантности, исследователей правового положения коренных народов и меньшинств, демографов и географов, специализирующихся на анализе переписей и картографии и т.д.). Да и сами полевики уже не вчера стали подразделяться на собственно этнографов и фольклористов, методы которых более или менее соответствуют канонам полевого исследования, и социологов, этноархеологов, специалистов по анализу дискурса (в поле они собирают документы политических партий и этнокультурных центров, местные газеты и правовые акты и т.п.), а также историков, изучающих устную историю, чьи методы, объекты и инструменты рассмотрения предмета исследования соответствуют этим канонам в значительно меньшей степени.

Хочу быть понятым правильно: я осведомлен, что само понятие полевой этнографической работы за последние четверть века, в том числе и в нашей стране, за счет растущей урбанизации и концентрации населения в крупных городах далеко ушло от классики колониальной и крестьяноведческой этнографии. При всем этом опережающими темпами росла и доля чисто кабинетных исследований, в которых встреча с Другим осуществляется все чаще как мысленный эксперимент, достаточный для не слишком обязывающих умозаключений, присущих сегодняшним этнографическим работам так называемого «среднего уровня», либо была многократно опосредована, как это обычно и бывает в исследованиях текстов и вещей. Чтобы эти утверждения не выглядели голословными, приведу ниже в *таблице* небольшую статистику, касающуюся книжных публикаций<sup>15</sup> последнего десятилетия.

Таблица

Тематика книжных публикаций Института этнологии и антропологии РАН по данным ежегодных институтских отчетов

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Σ
<b>Физическая антропология</b> (включая медицинскую антропологию)	3	3	3	6	4	4	7	2	3	5	40
<b>Этология</b>	-	-	-	3	3	1	-	2	-	-	9
<b>Традиционная этнография</b> (общие работы, учебники, энциклопедические издания)	10	9	6	9	7	9	6	4	6	6	72
<i>исследования материальной культуры</i>	2	2	2	1	-	1	-	2	1	-	11
<i>исследования духовной культуры</i> (соционормативная культура, мировоззрение, духовное наследие, ритуалы, обычаи, праздники, исследования фольклора)	1	3	-	3	2	3	2	5	5	3	27
<b>Музееведение</b>	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3
<b>Этническая и социальная история</b>	1	1	1	1	4	2	3	4	1	6	24

<sup>15</sup> Анализ тенденций развития дисциплины, выполненный на основе публикаций научных статей (а не книг, как в данном случае), был представлен в другой работе (Соколовский 2003).

*Таблица (продолжение)*

Тематика книжных публикаций Института этнологии и антропологии РАН  
по данным ежегодных институтских отчетов

<b>Этносоциология и социология культуры</b>	-	-	1	-	-	2	1	4	1	-	9
<b>Этно- и палеодемография, историческая демография, этногеография, география культуры</b>	1	1	2	2	2	2	2	1	7	1	21
<b>Этноэкология</b>	2	1	-	1	1	-	-	2	2	-	9
<b>Этноархеология</b>	-	1	-	1	1	-	3	1	2	4	13
<b>Этнопсихология и психологическая антропология</b>	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	4
<b>История дисциплины</b> (библиографии, биографии и мемуары, публикации документов и классических работ, переводы зарубежной классики, науковедческие исследования)	5	4	4	7	6	3	1	7	1	1	39
<b>Религиоведение</b>	6	2	3	4	2	7	4	3	2	2	35
<b>Социальная и культурная антропология</b> (общие работы, учебники, исследования социальных структур, антропология профессий и субкультур)	-	1	2	4	1	3	3	2	3	7	26
<b>Визуальная антропология</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
<b>Гендерные исследования</b>	5	1	4	5	3	4	4	2	5	6	39
<b>Политическая антропология и этнополитология</b>											
<i>исследования мультикультурализма, культурного многообразия, толерантности, ксенофобии и расизма</i>	1	9	4	6	8	3	6	6	4	4	51
<i>исследования национальной политики, национализма, этничности, идентичности, этнических процессов</i>	9	7	13	5	8	8	6	3	3	5	67
<b>Этноконфликтология</b>	4	2	2	6	2	1	3	3	1	1	25
<b>Экономическая антропология</b>	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
<b>Юридическая антропология</b>	3	1	2	1	-	1	-	1	-	-	9

Из данных таблицы следует, что по меньшей мере треть опубликованных книг (а речь здесь идет об авторских и коллективных монографиях, сборниках статей, энциклопедических и справочных изданиях, то есть работах, подготовка которых требует значительных, иногда многолетних, временных затрат), а на самом деле более половины – никак не зависят от новых полевых данных и в лучшем случае опираются либо на полевые материалы прежних лет, либо совершенно в них не нуждаются, поскольку строятся целиком на иных источниках. Если мы сложим, например, написанные за десятилетие книги в рамках таких направлений, как политическая антропология и этнополитология, история дисциплины, этническая и социальная история, добавим учебники и энциклопедические издания и учтем при этом, что значительная часть работ по

исторической демографии, религиоведению и гендерным исследованиям была также выполнена на основе источников, не имеющих отношения к полевой этнографической работе, то общая доля историко-архивных и кабинетных публикаций превысит половину от общего числа. Рост числа кабинетных штудий при уже отмеченном выше низком уровне методологической рефлексии и сокращающемся притоке свежих полевых материалов не может не приводить к прогрессирующей схоластике антропологических концептуализаций.

Пути борьбы с этой тенденцией очевидны: для притока новых материалов нужна молодежь, возраст и здоровье которой соответствует вызовам полевого исследования, а для противодействия схоластике необходимо развивать и поощрять институт критики (сегодня практика такова, что критические рецензии в российских антропологических журналах с подробным разбором не только достижений, но и ошибок и ляпов, допущенных в той или иной книге, можно пересчитать по пальцам)<sup>16</sup>. Кроме того, нужна регулярная трансляция передовых методологий социальных исследований и обучение им студентов. Вполне вероятно, что стоит пересмотреть традиционную практику подготовки этнографов на исторических факультетах, но в пользу не социологических, а межфакультетских кафедр социальной антропологии. Такие кафедры должны наследовать лучшие традиции нашего социологического, исторического и лингвистического образования, а все элементы программы обучения интегрироваться вокруг задач и потребностей собственно антропологического изучения культуры и общества.

Пока же наблюдается довольно парадоксальная картина: излюбленный объект нашей этнографии – традиционная культура – тает на глазах. Лапти, бороны и сохи, прялки и паневы – объекты пристального, даже, я бы сказал, болезненно ностальгического внимания отечественных этнографов – уже давно пересчитаны и музеефицированы. В это же самое время мифология и ритуалы по поводу новых (компьютеров, мобильных телефонов, смартфонов и планшетов), да и ставших давно привычными, технологий (электричества, телевидения, стиральных машин и пылесосов, современного транспорта) остаются вне фокуса внимания «изучателей» материальной и духовной культуры. Вообразите себе оптику этого взгляда – этот ленинский прищур в разглядывании останков былого мира. Наверное, образование историка позволяет сегодняшнему этнографу профессионально отсеять все «индустриально-наносное» и «цивилизационно-чуждое» и очистить любимый лик исконно-традиционного, но цели такой реконструкции и сепарации реальности становятся все менее оправданными. Погоня за подлинностью реконструируемой культуры оборачивается слабым знанием культуры современной. Этот традиционалистский пуризм замечательно вписывается в местные национализмы всех толков, включая великорусский, и подкармливает их, но он уже давно прекратил поставлять собственно научные материалы, столь необходимые для развития любой дисциплины.

---

<sup>16</sup> Редкими примерами таких критических рецензий, в частности, являются: Березкин 2005; Кормина 2005; Козинцев 2009; Напольских 2011.

Исчезновение из повседневного быта упомянутых материальных свидетельств традиции говорит о ее прогрессирующей виртуализации. Однако при том, что традиционная культура, переселяясь в музеи и интернет, все более виртуализуется, усилия по ее реконструкции и интерпретации несколько не ослабевают. В это же время повседневная и осязаемо материальная культура современности, включающая и все окружающие нас аппараты виртуальной реальности (те самые радио, телевизоры, телефоны и прочие устройства для дальнотышения, дальновидения и дальнодействия), разумеется, самым непосредственным образом сказывающаяся на поведении и образе мысли тех, с кем общается этнограф в своей полевой практике, почему-то изымается из предмета дисциплины как нелегитимная. Получается, что этнографам предписано изучать мифологию и ритуалы крестьян N-ской губернии, но как-то не сподручно – мифологию и ритуалы летчиков, электронщиков, телемастеров и сантехников, да и жизнь простых обывателей в той степени, в которой их верования касаются этих новых, но ставших привычными, и в этом смысле – вполне традиционными сферами нашей повседневности. В отличие от, например, британской социальной антропологии, где культура обращения с мобильными телефонами или поведения в пабах<sup>17</sup> – предмет закономерного и вполне обычного внимания антропологов, мои робкие просьбы к специалистам по православному посту обратить внимание на его современные трансформации в ресторанном бизнесе натолкнулись на стену непонимания: наши этнографы, сказали мне, по ресторанам и пабам не ходят. Препятствует этому, как я понял из слов моих собеседников, не только дороговизна таких посещений, но и сама традиция российской этнографии, отвергающая такого рода исследования как не относящиеся к предметному полю дисциплины. Не относятся же они к нему из-за того простого обстоятельства, что привилегированным предметом изучения у нас остается этническая культура, а рестораны и прочие заведения в русской (читай – крестьянской) культуре прописки не имеют, хотя прочая кухня народов мира неизменно поминается как этническая.

Установка на изучение этноспецифического заставляет российского этнографа сужать и фильтровать наблюдаемую им повседневность, а фиксация на традиции препятствует описанию новаций, да и сами каноны описания и анализа этнографической триады «пища – жилище – одежда», отражая приемы этнографической компаративистики XIX века, не позволяют анализировать и описывать трансформации современной материальной культуры. Впрочем, сами исследования традиционного, кажется, стали меняться. Например, столь популярные вплоть до начала 1980-х годов исследования этногенеза сегодня практически сошли на нет (исключением являются лишь соответствующие разделы энциклопедических изданий по народам и исследования, выполненные в жанре этноархеологии). Их низкая популярность в академических исследовательских центрах столиц (и значительно более высокая в регионах<sup>18</sup>) объясняется не только

<sup>17</sup> Ср. главы *Emerging Talk-Rules: The Mobile Phone* и *Pub-Talk* (Fox 2004: 84–108). См. также: *Ibid.* *Evolution, Alienation and Gossip. The role of mobile telecommunications in the 21st century* (<http://www.sirc.org/publik/gossip.shtml>).

<sup>18</sup> Из обширной региональной литературы приведу лишь пример многотомной серии «Ин-

различиями в политических заказах центральных и региональных властей<sup>19</sup>, но и более прочными позициями конструктивизма в центральных академических структурах.

Медленный дрейф предмета, разумеется, делает свой вклад в двоящуюся идентичность дисциплины и дисциплинарного сообщества в целом, не сегодня разделившегося на консерваторов-почвенников, именующих себя этнологами и этнографами, и реформаторов-радикалов, предпочитающих называть свою дисциплину антропологией, а себя – антропологами<sup>20</sup>. В то время как на кафедрах старых университетов рассказывают студентам об «основных трудностях выделения этноса среди других социальных общностей» (Куропятник 2010) или «специфике этнологического взгляда на развитие обществ» (Семенов 2006), на вновь отрывааемых осваивают азы медицинской антропологии и антропологии профессий (Профессии.doc 2007; Ярская-Смирнова, Романов 2004). Такое положение отчасти объясняет появление и институализацию новых направлений исследований в антропологическом сообществе – этнологии, социальной истории, гендерных исследований, вновь проснувшегося интереса к юридической антропологии. Все эти новые или заново стартовавшие субдисциплины, однако, располагаются на периферии как прежней этнологии с ее унаследованными еще с XIX века проектами, так и новой социокультурной антропологии (как в отношении спектра используемых методов, так и в отношении границ предметной области, хотя и остающейся весьма просторной, но все же имеющей некоторое собственное, а не заимствованное у биологии, правоведения или истории ядро). В это ядро вне всякого сомнения входят работы, которые были отнесены в представленном выше рубрикаторе к строке социальной и культурной антропологии. Таких работ, если судить по продукции Института этнологии и антропологии РАН, крайне мало: они составляют лишь пять процентов от всех книг. Не лучше дело обстоит и в большинстве других российских центров антропологических исследований<sup>21</sup>.

Прикладная антропология, от которой можно было бы ждать новых импульсов развития для дисциплины в целом, поскольку именно она должна отвечать на запросы общества и предлагать решения социальных проблем, в случае российской антропологии оказалась огосударственной и именно в силу этого обстоятельства в значительной части выхожденной. Даже исследование злободневных и острых

---

теграция археологических и этнографических исследований», издаваемой с 1993 года по настоящее время Омским государственным университетом. Обстоятельная критика и историография современных этногенетических исследований в России представлена в: Шнирельман 1993, 1996, 1998; Shnirelman 1996, 1998.

<sup>19</sup> Центр настороженно относится к использованию этногенетических нарративов в местных национализмах, но готов поддерживать этноисторические, этноархеологические и лингвистические реконструкции в рамках исследований этногенеза русских, в то время как республиканские власти заинтересованы в этногенетических исследованиях «своих» наций.

<sup>20</sup> Речь здесь ведется, конечно же, не о физических антропологах, но о представителях новой для России дисциплины – социокультурной антропологии, кадры которой готовятся на новых кафедрах, созданных в начале 2000-х годов.

<sup>21</sup> Ср., например, публикации МАЭ-Кунсткамеры ([www.kunstkamera.ru/science/publikacii\\_i\\_izdaniya/](http://www.kunstkamera.ru/science/publikacii_i_izdaniya/)).



для России тем, таких как толерантность, ксенофобия и расизм оказались в большей своей части вписанными в очередную государственную кампанию, в которой чиновники определяли, какие именно направления исследовать и какие конкретные работы публиковать, в результате чего из вала публикаций на эту тему не наберется и десятка, действительно обсуждаемых в обществе или в среде самих исследователей. Политическая поддержка конкретных направлений в исследованиях в области социальных наук и гуманитарных дисциплин вообще оказалась связанной либо с поддержкой идеи национализма (русского или его республиканских версий), либо с идеологической поддержкой тех же государственных программ и кампаний – борьбы с терроризмом, кампании борьбы за «правильную историю», не слишком внятных научных обоснований экономической, демографической, образовательной и языковой политики и т.п. Исследовательские проекты, выполняемые в рамках таких программ, опираются, скорее, на этос предпринимательства, нежели на этос научного исследования или незаинтересованный в практических выгодах поиск истины, и это представляет собой еще одну опасность для отечественных социальных наук. Зависимость Российской академии наук от государственного финансирования (усиливающаяся тем обстоятельством, что оба крупных фонда, организованных для поддержки фундаментальных исследований в области естественных и общественных наук, – РФФИ и РГНФ, также существуют, главным образом, за счет государственных дотаций) играет двойственную роль, не позволяя социальным дисциплинам уйти в небытие, но консервируя их проблематику и превращая в провинциальные их исследовательские поля за счет подчинения политико-бюрократическому аппарату и его сиюминутным интересам. Поскольку «кто платит, тот и заказывает музыку» – решение этой проблемы в случае российской антропологии и социальных наук в целом очевидно: диверсификация источников финансирования. Впрочем, политика российского правительства по вытеснению зарубежных фондов, поддерживающих социальные исследования, за пределы страны, сокращает возможности такой диверсификации и заставляет молодое поколение исследователей искать лучшей доли за пределами страны.

Российская антропология в силу всех этих обстоятельств оказалась в настоящем цейтноте – старшее поколение исследователей уходит на пенсии и из жизни, в то время как младшее делает выбор в пользу более инфраструктурно обеспеченного и менее зависимого научного поиска, который предлагается зарубежными центрами или перепрофилируется, становясь экономистами (эконом-антропологами), юристами (правозащитная антропология и прикладная юридическая антропология), чиновниками и администраторами государственных и частных корпораций и т.д. Еще полтора десятка лет такого развития событий – и уже нельзя будет писать о кризисе дисциплины, но все еще можно будет изучать обстоятельства и подробности ее гибели.

## БИБЛИОГРАФИЯ

- Басилов, Владимир. 1998. Традиции отечественной этнографии // *Этнографическое обозрение*. № 2. С. 18–45 [Basilov, Vladimir. 1998. Traditsii otechestvennoï etnografii. *Etnograficheskoe obozrenie* 2:18–45].

- Березкин, Юрий. 2005. [Рец. на]: Е.А. Окладникова. Традиционные культуры Северной Америки как цивилизационный феномен. СПб., 2003 // *Этнографическое обозрение*. № 4. С. 151–155 [Berezkin, Iurii. 2005. [Review]: E.A. Okladnikova. Traditsionnye kul'tury Severnoi Ameriki kak tsivilizatsionnyi fenomen. SPb., 2003. *Etnograficheskoe obozrenie* 4:151–155].
- Бромлей, Юлиан. 1981. *Современные проблемы этнографии*. М.: Наука [Bromlyei, Iulian. 1981. *Sovremennye problemy etnografii*. M.: Nauka].
- Ильхамов, Алишер. 2005. Археология узбекской идентичности // *Этнографическое обозрение*. № 1. С. 25–47 [Il'hamov, Alisher. 2005. Arheologiya uzbekskoi identichnosti. *Etnograficheskoe obozrenie* 1:25–47].
- Козинцев, Александр. 2009. Наука минус наука. [Рец. на]: Могильнер М. Homo imperii. История физической антропологии в России. М.: Новое литературное обозрение, 2008. 512 с. // *Антропологический форум*. № 11. С. 429–441 [Kozintsev, Aleksandr. 2009. Nauka minus nauka. [Review]: Mogil'ner M. Homo imperii. Istorii fizicheskoi antropologii v Rossii. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2008. 512 s. *Antropologicheskii forum* 11:429–441].
- Козлов, Виктор. 1992. Между этнографией, этнологией и жизнью // *Этнографическое обозрение*. № 3. С. 3–14 [Kozlov, Viktor. 1992. Mezhdru etnografiei, etnologiei i zhizn'iu. *Etnograficheskoe obozrenie* 3:3–14].
- Кормина, Жанна. 2005. [Рец. на]: К.Л. Банников. Антропология экстремальных групп. М., 2002 // *Антропологический форум*. № 2. С. 358–362 [Kormina, Zhanna. 2005. [Review]: K.L. Bannikov. Antropologiya ekstremal'nyh grupp. M., 2002. *Antropologicheskii forum* 2:358–362].
- Куропятник, Александр. Программа курса этнологии (этнографии) по специальности 350100 «Социальная антропология». [old.soc.pu.ru/inf/courses/350100/etnolog.shtml](http://old.soc.pu.ru/inf/courses/350100/etnolog.shtml). Просмотрено 29 июня 2011 г. [Kuropiatnik, Aleksandr. Programma kursa etnologii (etnografii) po spetsial'nosti 350100 «Sotsial'naya antropologiya». Available June 29, 2011].
- Левин, Максим и Николай Чебоксаров. 1955. Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические области // *Советская этнография*. № 4. С. 3–16 [Levin, Maksim, and Nikolai Cheboksarov. 1955. Hoziaistvenno-kul'turnye tipy i istoriko-etnograficheskie oblasti. *Sovetskaya etnografiia* 4:3–16].
- Мартынова, Антонина. 2006. *Владимир Яковлевич Пропп: Жизненный путь. Научная деятельность*. СПб.: Дмитрий Буланин [Martynova, Antonina. 2006. *Vladimir Yakovlevich Propp: Zhiznennyi put'. Nauchnaia deiatel'nost'*. SPb.: Dmitrii Bulanin].
- Могильнский, Николай. 1909. Этнография и ее задачи // Ежегодник Русского антропологического общества при Санкт-Петербургском университете. СПб. Т. III. С. 101–114 [Mogilianskii, Nikolai. 1909. Etnografiia i ee zadachi. *Yezhegodnik Russkogo antropologicheskogo obshchestva pri Sankt-Peterburgskom universitete*. SPb. Vol. III:101–114].
- Могильнский, Николай. 1916. Предмет и задачи этнографии // *Живая старина*. Пг. Т. XXV, Вып. 1. С. 1–22 [Mogilianskii, Nikolai. 1916. Predmet i zadachi etnografii. *Zhivaya starina*. Pg. Vol. XXV, Issue 1:1–22].
- Надеждин, Николай. 1847. Об этнографическом изучении народности русской // *Записки Русского географического общества*. Т. II. С. 61–145 [Nadezhdin, Nikolai. 1847. Ob etnograficheskom izuchenii narodnosti russkoi. *Zapiski Russkogo geograficheskogo obshchestva*. Vol. II:61–145].
- Напольских, Владимир. 2011. [Рец. на]: Основы этнологии: Учебное пособие. Под ред. проф. В.В. Пименова. М.: Изд-во МГУ, 2007. 696 с. // *Этнографическое обозрение*. № 6 [в печати] [Napol'skikh, Vladimir. 2011. [Review]: Osnovy etnologii: Uchebnoe posobie. Edited by prof. V.V. Pimenov. M.: Izd-vo MGU, 2007. 696 s. *Etnograficheskoe obozrenie* 6 [in print]].
- Отчет. 2010. Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. Отчет о работе в 2009 г. М.: ИЭА РАН [Otchet. 2010. Institut etnologii i antropologii im. N.N. Mikluho-Maklaya. Otchet o rabote v 2009 g. M.: IEA RAN].
- Отчет. 2011. Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. Отчет о работе в 2010 г. М.: ИЭА РАН [Otchet. 2011. Institut etnologii i antropologii im. N.N. Mikluho-Maklaya. Otchet o rabote v 2010 g. M.: IEA RAN].

- Пименов, Владимир. 1990. Этнографический факт // *Советская этнография*. № 3. С. 43–52 [Pimenov, Vladimir. 1990. Etnograficheskiĭ fakt. *Sovetskaia etnografiia* 3:43–52].
- Профессии.doc. Социальные трансформации профессионализма: взгляды снаружи, взгляды изнутри. 2007 / Под ред. Елены Ярской-Смирновой и Павла Романова. М.: Вариант, ЦСПГИ [Professii.doc. Sotsial'nye transformatsii professionalizma: vzgliady snaruzhi, vzglyady iznutri. 2007. Edited by Elena Yarskaia-Smirnova and Pavel Romanov. M.: Variant, TSSPGI].
- Семенов, И.В. 2006. Программа учебной дисциплины «Введение в этнографию». СПбГУ, исторический факультет // [www.history.spbpu.ru/upload/.../Vvedenie\\_v\\_etronografiyu-etnologiyu.doc](http://www.history.spbpu.ru/upload/.../Vvedenie_v_etronografiyu-etnologiyu.doc). Просмотрено 25 марта 2011 г. [Semenov, I.V. 2006. Programma uchebnoi distsipliny «Vvedenie v etnografiu». SPbGU, istoricheskii fakul'tet. Available March 25, 2011].
- Соколовский, Сергей. 2003. Российская этнография в конце века: библиометрическое исследование // *Этнографическое обозрение*. № 1. С. 3–22 [Sokolovskii, Sergei. 2003. Rossiiskaia etnografiia v kontse veka: bibliometricheskoe issledovanie. *Etnograficheskoe obozrenie* 1:3–22].
- Соколовский, Сергей. 2008. Российская антропология и проблемы ее историографии // *Антропологический форум*. № 9. С. 123–153 [Sokolovskii, Sergei. 2008. Rossiiskaia antropologiia i problemy ee istoriografii. *Antropologicheskii forum* 9:123–153].
- Соколовский, Сергей. 2009. Российская антропология: иллюзия благополучия // *Неприкосновенный запас*. № 1 (63). С. 45–64 [Sokolovskii, Sergei. 2009. Rossiiskaia antropologiia: illiuziia blagopoluchiiia. *Neprikosnovennyi zapas* 1(63):45–64].
- Соловей, Татьяна. 1998. *История отечественной этнологии первой трети XX века: от «буржуазной» этнологии к «советской» этнографии*. М.: [Институт этнологии и антропологии РАН] [Solovei, Tat'iana. 1998. *Istoriia otechestvennoi etnologii pervoi treti XX veka: ot «burzhuaznoi» etnologii k «sovetskoii» etnografii*. M.: [Institut etnologii i antropologii RAN]].
- Соловей, Татьяна. 2004. *Власть и наука в России. Очерки университетской этнографии в дисциплинарном контексте (XIX – начало XXI вв.)*. М.: Прометей [Solovei, Tat'iana. 2004. *Vlast' i nauka v Rossii. Ocherki universitetskoi etnografii v distsiplinarnom kontekste (XIX – nachalo XXI vv.)*. M.: Prometei].
- Тишков, Валерий. 1992. Советская этнография: преодоление кризиса // *Этнографическое обозрение*. № 1. С. 5–20 [Tishkov, Valerii. 1992. Sovetskaya etnografiia: preodolenie krizisa. *Etnograficheskoe obozrenie* 1:5–20].
- Тишков, Валерий. 2002. Горизонты российской этнологии. К 70-летию Института этнологии и антропологии РАН // *Новая и новейшая история*. № 5. С. 3–18 [Tishkov, Valerii. 2002. Gorizonty rossiiskoi etnologii. K 70-letiiu Instituta etnologii i antropologii RAN. *Novaya i novyeishaia istoriia* 5:3–18].
- Тишков, Валерий и Елена Пивнева. 2010. Этнологические и антропологические исследования в российской академической науке // *Новая и новейшая история*. № 2. С. 3–21 [Tishkov, Valerii, and Elena Pivneva. 2010. Etnologicheskie i antropologicheskie issledovaniya v rossiiskoi akademicheskoi nauke. *Novaya i novyeishaia istoriia* 2:3–21].
- Харузин, Николай. 1901. *Этнография*. Вып. 1. М. [Haruzin, Nikolai. 1901. *Etnografiia*. Issue 1. M.].
- Широкогоров, Сергей. 1923. Этнос: Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений. Шанхай (*Известия Восточного факультета Государственного Дальневосточного университета*). Вып. XVIII. Т. 1) [Shirokogorov, Sergei. 1923. Etnos: Issledovanie osnovnyh printsipov izmeneniya etnicheskikh i etnograficheskikh iavlenii. Shanhai (*Izvestiia Vostochnogo fakul'teta Gosudarstvennogo Dal'nevostochnogo universiteta*. Issue HVIII. Vol. 1)].
- Шнирельман, Виктор. 1993. Злоключения одной науки: этногенетические исследования и сталинская национальная политика // *Этнографическое обозрение*. № 3. С. 52–68. [Shnirel'man, Viktor. 1993. Zlokliucheniia odnoi nauki: etnogeneticheskie issledovaniia i stalinskaia natsional'naia politika. *Etnograficheskoe obozrenie* 3:52–68].
- Шнирельман, Виктор. 1996. Борьба за аланское наследство (этнополитическая подоплека современных этногенетических мифов) // *Восток*. № 5. С. 100–113 [Shnirel'man, Viktor. 1996. Bor'ba za alanskoe nasledstvo (etnopoliticheskaya podopleka sovremennyh etnogeneticheskikh mifov). *Vostok* 5:100–113].

- Шнирельман, Виктор. 1998. От конфессионального к этническому: болгарская идея в национальном самосознании казанских татар в XX в. // *Вестник Евразии*. № 1–2. С. 137–159 [Shnirel'man, Viktor. 1998. Ot konfessional'nogo k etnicheskomu: bulgarskaia ideia v natsional'nom samosoznanii kazanskikh tatar v XX v. *Vestnik Yevrazii* 1–2:137–159].
- Ярская-Смирнова, Елена и Павел Романов. 2004. *Социальная антропология*. Ростов-на-Дону: Феникс [Iarskaya-Smirnova, Yelena, and Pavel Romanov. 2004. *Sotsial'naia antropologiya*. Rostov-na-Donu: Feniks].
- Bertrand, Frédérique. 2002. *L'anthropologie soviétique des années 20–30. Configuration d'un rupture*. Bordeaux: PUB.
- Chichlo, Boris. 1984. L'Ethnographie soviétique est-elle une anthropologie? Pp. 247–258 in: *Histoire de l'Anthropologie: XVIe–XIXe siècles*. Edited by B. Rupp-Eisenreich. P.: Klincksiek.
- Chichlo, Boris. 1990. L'Anthropologie soviétique à l'heure de la perestrojka. *Cahiers du Monde Russe et Soviétique* 31(2–3):223–232.
- Durand, Jean-Yves. 1995. «Traditional Culture» and «Folk Knowledge»: Whither the Dialogue between Western and Post-Soviet Anthropology? *Current Anthropology* 36(2):326–330.
- Elfimov, Alexei. 1997. The State of the Discipline: Interviews with Russian Anthropologists. *American Anthropologist* 99(4):775–785.
- Elfimov, Alexei. 2010. Ethnographic Practices and Methods: Some Predicaments of Russian Anthropology. Pp. 95–106 in: *Ethnographic Practice in the Present*. Edited by Marit Melhuus, John P. Mitchell, and Helena Wulff. New York; Oxford: Berghahn Books.
- Fox, Kate. 2004. *Watching the English*. London: Hodder & Stoughton.
- Fox, Kate. Evolution, Alienation and Gossip. The Role of Mobile Telecommunications in the 21st Century. [www.sirc.org/publik/gossip.shtml](http://www.sirc.org/publik/gossip.shtml). Available June 29, 2011.
- Gellner, Ernest. 1977. Ethnicity and Anthropology in the Soviet Union. *European Journal of Sociology* 18(2):201–220.
- Humphrey, Caroline. 1984. Some Recent Developments in Ethnography in the USSR. *Man* 19(2):310–320.
- Khazanov, Anatoly M. 1990. The Ethnic Situation in the Soviet Union as Reflected in Soviet Anthropology. *Cahiers du Monde Russe et Soviétique* 31(2–3):213–222.
- Khazanov, Anatoly M. 1992. Soviet Social Thought in the Period of Stagnation. *Philosophy of the Social Sciences* 22(2):231–237.
- Shnirelman, Victor A. 1996. *Who Gets the Past? Competition for Ancestors among Non-Russian Intellectuals in Russia*. Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press; Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Shnirelman, Victor. 1998. National Identity and Myths of Ethnogenesis in Transcaucasia. Pp. 48–66 in: *Nation-Building in the Post-Soviet Borderlands: The Politics of National Identity*. Edited by Graham Smith, Vivien Law, Andrew Wilson, Annette Bohr, and Edward Allworth. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Slezkine, Yury. 1991. The Fall of Soviet Ethnography, 1928–38. *Current Anthropology* 32(4):476–84.
- Tishkov, Valery. 1992. The Crisis in Soviet Ethnography. *Current Anthropology* 33(4):371–82.
- Tishkov, Valery. 1995. Post-Soviet Ethnography: Not a Crisis but Something More Serious. *Anthropology & Archeology of Eurasia* 33(3):87–92.
- Tishkov, Valery. 1998. U.S. and Russian Anthropology: Unequal Dialogue in a Time of Transition. *Current Anthropology* 39(1):1–7; Reply to Comments Pp. 14–16.
- Van Meurs, Wim. 2000. Ethnographie in der UdSSR: Jäger oder Sammler? In: *Inszenierung des Nationalen: Geschichte, Kultur und die Politik der Identitäten am Ende des 20. Jahrhunderts*. Edited by Beate Binder, Wolfgang Kaschuba, and Peter Niedermüller. Berlin (русский перевод: В. ван Мейрс. 2001. Советская этнография: охотники или собиратели? *Ab Imperio*. № 3. С. 9–42). [Russian translation: Wim Van Meurs. 2001. Sovetskaia etnografiia: ohotniki ili sobirateli? *Ab Imperio* 3:9–42)].